Ева Разумовская

Мозаика страсти



Иногда предательство начинается с поцелуя, а любовь заканчивается выстрелом.

18+

КНИГА 2

Ева Разумовская

Мозаика страсти

«Автор»
2026

Разумовская Е.

Мозаика страсти / Е. Разумовская — «Автор», 2026

Страсть редко выбирает удобное время и стерильные декорации. Чаще она вспыхивает там, где её меньше всего ждут: за ширмой уездной гостиной, под грохот артиллерийских разрывов или в полумраке музейного зала.«Мозаика страсти. Книга 2» — продолжение антологии о запретном влечении, которое оказывается сильнее страха, стыда и условностей.Десять новелл, где классическая литературная атмосфера сталкивается с предельной откровенностью. Знойный адриатический полдень и заснеженный санаторий в Альпах, пыльные классы благородного пансиона, обстрелянный самарский вокзал восемнадцатого года, петербургские сумерки и глухие уездные полустанки. В каждой из этих историй телесная близость становится последним убежищем, способом обмануть одиночество или вырвать у судьбы право на живое чувство.Это не сборник лёгких курортных романов. Это проза о тонкой грани между возвышенным и плотским, где у каждого желания есть своя цена, а развязка всегда оставляет горьковато-сладкое послевкусие.

© Разумовская Е., 2026
© Автор, 2026

Ева Разумовская
Мозаика страсти

Цугцванг желания

В санатории «Вальдхаус», затерянном среди ослепительных снегов Энгадина, время текло так же медленно, как лечебный хвойный сироп. Сюда приезжали не столько лечить лёгкие, сколько прятаться от долгов, скуки и неудачных браков. Рощин, признанный, но уже смертельно уставший от собственной гениальности шахматный мастер, проводил вечера в пустой гостиной у камина, расставляя на лакированной доске бесконечные сицилианские защиты.

Марта появилась в санатории перед самым Рождеством. Она была старше его обычных поклонниц, носила строгие мужские смокинги, курила крепкие папиросы сквозь длинный янтарный мундштук и смотрела на мир с той ледяной иронией, которая мгновенно парализовала волю робкого гроссмейстера. Их сближение началось не со взглядов, а с безжалостной шахматной партии, в которой Марта, играя чёрными, загнала Рощина в глухой, позорный цугцванг — положение, при котором каждый его ход лишь ухудшал его позицию. Это было не просто поражение за доской — это была ментальная капитуляция. И когда вечером она пригласила его в свой номер под предлогом «разбора ошибок», Рощин шёл по ковровой дорожке коридора с отчётливым ощущением, что его ведут на казнь, от которой он, впрочем, не отказался бы ни за какие сокровища мира.

В её номере пахло дорогой замшей, хвойной смолой и турецким табаком. Рощин неловко топтался у порога, комкая в руках шерстяной шарф, когда Марта, даже не сняв своего строгого пиджака, подошла к нему вплотную.

— Вы совершенно разучились защищаться, Рощин, — тихо, с лёгкой хрипотцой произнесла она, вынимая шарф из его онемевших пальцев. — На доске вы медлительны. Посмотрим, каков ваш темп здесь.

Она лениво сбросила туфли, оставшись босиком на мягком ворсе ковра, и её серые, хищные глаза оказались как раз на уровне его взгляда.

Рощин не успел ничего ответить. Сама эта душная, пахнущая смолой и табаком комната и Марта, стоящая слишком близко, парализовали его куцую, сугубо шахматную волю. Вместо того чтобы дать ему опомниться или сделать привычный светский шаг назад, она сама повела эту партию дальше. Марта твёрдо взяла его за плечи и толкнула назад, в глубокое, обитое зелёным бархатом кресло у самого панорамного окна, за которым в ночной темноте бесновалась альпийская метель. Она опустилась перед ним на колени, но в этом жесте не было покорности — скорее, уверенность хирурга перед надрезом. Рощин замер, безотчётно вжавшись в спинку кресла и чувствуя, как её ладони, горячие и сухие, уверенно избавляют его от жилета и сорочки, заставляя судорожно втягивать воздух.

Когда она обнажила его торс, Рощин попытался податься вперёд, потянуться к её губам, но Марта мягко, но непреклонно упёрлась ладонью в его грудь, удерживая в кресле.

— Сидите, гроссмейстер. Разве я давала команду делать ход?

Она поднялась, расстегнула широкий кожаный пояс и сбросила брюки. Затем подошла вплотную к огромному панорамному окну и опёрлась ладонями о широкий дубовый подоконник. Чуть прогнувшись в пояснице, она бросила на Рощина быстрый, властный взгляд через плечо. Это была безупречная, вызывающая геометрия. Затем, медленным, почти ленивым движением рук она спустила по бёдрам чёрное шёлковое бельё, которое с тихим шорохом скользнуло к её щиколоткам. В полумраке комнаты, подсвеченном снаружи синеватым отблеском летящего снега, обнажились округлые, матовые полушария её ягодиц и темнеющий внизу, между стройных ног, сокровный изгиб её лона, уже мерцавший от выступившего тепла.

— Ваш ход, Рощин. Но только сзади. И не смейте торопиться, — приказала она.

Рощин поднялся с кресла. Руки его слегка дрожали, когда он лихорадочно избавился от собственных брюк, сбросив их прямо на ковёр. Теперь, освобождённый от последних покровов, он чувствовал, как внутри него всё горит от первобытного вожделения. Его нагота встретилась с её кожей без лишних слов. Он подошёл к ней сзади, его ладони легли на её упругие бёдра, фиксируя их. Марта чуть подалась назад, сама принимая его внутрь себя — не спеша, сантиметр за сантиметром, подчиняя его своему безупречному расчёту.

Для Рощина это движение стало точкой невозврата. Безупречные защитные линии, которые он выстраивал в уме годами, разом рухнули. Вся близость подчинилась строгому, неотвратимому ритму её тела: влажная, обжигающая теснота её плоти полностью поглотила его сознание. Контраст между ледяным панорамным стеклом, за которым бушевала ночная метель и к которому Марта прижималась лбом, оставляя на нём круглое пятнышко пара от своего дыхания, и бушующим внутри неё пожаром лишал Рощина последней воли. Он двигался в ней, ловя этот изнуряющий, подчиняющий темп, пока матовый изгиб её спины не стал для него единственной координатной сеткой во всей вселенной.

Снежные заряды с сухим шорохом бились в стекло в дюйме от её лица, но внутри номера воздух раскалился до предела. Рощин сжимал её талию, чувствуя, как с каждым толчком её тело становится всё более податливым и горячим, как её тесная, пульсирующая глубина удерживает его с неистовой силой.

Финальная, роковая комбинация накрыла их одновременно, оборвав партию на самом пике и оставив лишь долгое, звенящее затишье в душной темноте номера. Марта судорожно выдохнула, её пальцы крепко впились в дерево подоконника, фиксируя эту абсолютную, сокрушительную победу.

Ближе к утру метель за окном улеглась, оставив после себя мёртвую, величественную тишину гор. В комнате стало прохладно. Рощин сидел в кресле, наспех накинув свою расстёгнутую, измятую сорочку, и рассеянно смотрел на свои руки. Пальцы его всё ещё хранили ощущение гладкости её бёдер и тот терпкий аромат дорогой замши и турецкого табака, который теперь казался въевшимся под самую кожу.

Марта лежала на животе на широкой постели, укрытая до пояса простынёй, её обнажённая спина мерно поднималась и опускалась в такт глубокому сну. В утренней тишине Рощин закрыл глаза, и в его сознании сама собой проявилась та разгромная вечерняя позиция из каминного зала: его белый король был зажат в углу, а прямо перед ним, отнимая последнее свободное поле, неподвижно и властно стояла чёрная королева.

Он понимал, что этот поединок окончился полным крушением его привычного, упорядоченного мира. Но, глядя на спящую женщину, Рощин впервые за многие годы почувствовал странное, блаженное умиротворение. Его цугцванг разрешился самым сладостным образом, и этот проигрыш был ценнее любых его прошлых и будущих шахматных корон.

Осколки

Витражи главного корпуса Самарского вокзала сыпались со звоном, похожим на треск тонкого льда под кованым сапогом. После каждого близкого разрыва в сводчатом пространстве долго висела мелкая известковая пыль, оседая на плечи шинелей, на узлы беженцев и на тусклые циферблаты замерших часов.

Артиллерийский налёт начался в сумерках, когда последний санитарный эшелон с визгом тормозов ушёл на восток, бросив на перроне тех, кому не хватило ни вагонов, ни пропусков. В полутёмном тупике за багажным отделением, отрезанном от главного зала высокой баррикадой из ящиков с гвоздями и затвердевших мешков с мукой, сидели двое.

Аркадию было девятнадцать лет. Ещё месяц назад он носил форменную студенческую тужурку Казанского университета и спорил в кофейнях о римском праве, а теперь сидел на сыром цементном полу, втянув голову в плечи и безуспешно пытаясь унять предательскую дрожь в коленях. Его тонкие, не знавшие физического труда пальцы судорожно сжимали кожаный портфель с томиком Тютчева и сменной сорочкой — единственным имуществом, вывезенным из горящего дома.

Рядом с ним, привалившись спиной к мешку с мукой, сидела Пелагея. Ей было около тридцати — женщина крупная, широкая в кости, с простым, обветренным лицом волжской мещанки и спокойными, тёмными глазами, в которых не было ни паники, ни истерики. Они познакомились два часа назад в очереди за кипятком, а когда со стороны железнодорожного моста ударили трёхдюймовки и толпа в зале взревела, как раненый зверь, Пелагея молча схватила остолбеневшего студента за рукав и утащила сюда, за штабеля грузов.

Новый снаряд разорвался совсем близко — где-то на запасных путях. Потолок глухо загудел, сверху посыпалась сухая штукатурка, и в наступившей на мгновение тишине стало слышно, как часто и мелко стучат зубы Аркадия.

— Замёрз, барин? — негромко спросила Пелагея. Голос её прозвучал удивительно ровно и густо среди этого каменного хаоса.

— Н-нет… я не замёрз, — выговорил Аркадий, с трудом разжимая сведённые судорогой челюсти. — Просто… сейчас ведь обрушится свод. Или войдут в город… И тогда всех, кто в форме…

Он не договорил. В узкой щели между ящиками мелькнул багровый отсвет пожара с привокзальной площади, и снова грохнуло так, что заложило уши. Аркадий закрыл лицо руками, чувствуя, как к горлу подкатывает липкая, унизительная тошнота страха.

Пелагея молча подвинулась ближе. Она не стала утешать его жалостливыми словами — в восемнадцатом году слова ничего не стоили. Вместо этого она протянула широкую, тёплую ладонь и положила ему на затылок, притягивая его голову к своему плечу. От её толстого шерстяного платка пахло сухим сеном, овчиной и тем особенным, густым материнским теплом, которое сразу сбивало ледяной озноб.

— Не трясись, — тихо сказала она, проводя шершавыми пальцами по его щеке. — Покуда живой — дыши. Смерть — она дура, она тех берёт, кто сам в угол забился и ждёт.

Она расстегнула верхние крючки его тужурки, распахнув сукно на груди, и прижалась губами к его виску. Губы у неё были сухими и обжигающе горячими. Аркадий вздрогнул, поднял голову — и в багровом отблеске горящих складов за окном увидел её лицо совсем близко: тёмные брови, слегка приоткрытый рот и спокойный, пристальный взгляд, в котором вдруг зажглась та самая слепая, властная сила жизни, перед которой отступал даже грохот разрывов.

Он сам не понял, как его руки скользнули ей на талию, цепляясь за грубую шерсть юбки, как за единственный спасательный круг посреди тонущего корабля. Пелагея коротко выдохнула, перехватила его лицо ладонями и сама припала к его губам.

Этот поцелуй не походил ни на что, о чём Аркадий читал в книгах. В нём не было ни гимназической робости, ни красивых фраз — только жадный, земной жар, пахнущий спелой рожью и горячим женским телом. Её мягкий, податливый язык встретил его с такой щедрой, неторопливой лаской, что в висках у Аркадия застучала кровь, заглушая отдалённую пальбу.

Пелагея выпрямилась на коленях, распустила тугую тёмную косу — тяжёлые пряди упали ей на плечи, закрывая лицо от холодного света из-под сводов. Быстрыми, привычными движениями она расстегнула пуговицы своей ситцевой кофты, сбрасывая её с плеч, и распустила завязки широкой домотканой юбки. В полумраке тупика блеснула её высокая, тяжёлая грудь с широкими тёмными ареолами, округлые белые плечи и крепкий, тёплый живот.

Она стянула с себя бельё, расстелила на сыром цементе свой толстый овчинный полушубок и потянула Аркадия вниз, помогая ему торопливыми, ловкими пальцами расстегнуть

ремень и спустить форменные брюки. Когда его озябшая кожа коснулась её пышущего жаром, нагого тела, Аркадий задохнулся от внезапного, ослепительного восторга.

Пелагея сама легла на спину, утонув в мягкой овчине, широко развела крепкие, гладкие бёдра и обхватила его за поясницу, притягивая к себе.

— Иди сюда, милый… не бойся, — выдохнула она ему в самое ухо.

Когда он вошёл в неё — порывисто, неумело, натыкаясь на тугую, влажную глубину её зрелого тела, — Пелагея глухо застонала, выгнув спину и впиваясь пальцами в его лопатки. Её горячее, обволакивающее лоно сомкнулось вокруг него с той щедрой, торжествующей силой, от которой у Аркадия потемнело в глазах. Снаружи всё ещё рвались снаряды, звенели осыпающиеся стёкла в главном зале, но здесь, за стеной из ящиков и мучных мешков, весь рухнувший мир сжался до этого единственного тёплого круга.

Сперва Аркадий двигался торопливо, боясь, что этот немыслимый сон оборвётся от нового удара артиллерии, но Пелагея ладонями придержала его за бёдра, задавая свой ритм — глубокий, тягучий, властный. Она приподнималась ему навстречу, ловя каждый его толчок, тихо и гортанно постанывая при каждом глубоком погружении, пока из него не выветрился последний след студенческой робости и страха смерти. Аркадий прижимался лицом к её тёплой шее, сжимал руками её упругую грудь и двигался всё быстрее, глубже, отдаваясь этой первобытной, неодолимой стихии.

Нарастающий жар подхватил их обоих. Пелагея судорожно вздохнула, широко распахнув тёмные глаза, её тело вытянулось под ним струной, и в ту секунду, когда её охватила долгая, обжигающая судорога наслаждения, Аркадий с глухим стоном сорвался следом, растворяясь в этой тихой, спасительной бездне, где не существовало ни войны, ни завтрашнего дня.

Потом наступила тишина.

Артиллерия замолчала так же внезапно, как и начала. Только где-то далеко, на окраине города, сухо застучал пулемёт и тут же оборвался. Известковая пыль в воздухе медленно оседала в косом луче луны, пробившемся сквозь разбитый световой фонарь крыши.

Они лежали на овчинном полушубке, укрывшись поверх шерстяным платком Пелагеи. Аркадий смотрел в темноту, чувствуя на плече ровное, спокойное дыхание спящей женщины и удивительную, почти невесомую ясность в голове. Страх ушёл бесследно — будто остался там, среди битого стекла и осколков.

Внезапно на пустой привокзальной площади, прямо за толстыми кирпичными стенами вокзала, гулко раздались чьи-то торопливые шаги, короткий окрик — и в мёртвой ночной тишине сухо, хлестко грохнул одиночный револьверный выстрел. Эхо прокатилось по пустым перронам и замерло.

Пелагея во сне лишь слегка шевельнулась и плотнее прижалась щекой к его ключице. Аркадий осторожно натянул платок ей на плечо, глядя на блестящие в лунном свете осколки витражного стекла на цементном полу. Он знал, что утром в город войдут новые войска, их разлучат навсегда, и впереди его ждёт чужая, жестокая дорога — но эту ночь у них уже не отнимет ни один выстрел.

Припадок благоразумия

В уездном городе Серпухове весна всегда наступала как-то внезапно и несолидно, словно чиновник, явившийся на службу без галстука. Ещё вчера по Дворянской улице брели понурые обыватели в ватных бекешах, а сегодня с утра припекло так, что зазвенели капели, зачирикали на заборах воробьи, и в воздухе разлился тот особенный, щекочущий дух оттаявшей земли, сирени и дешёвого одеколона «Брокар», от которого у холостых мужчин начинает глухо ныть под ложечкой.

Коллежский асессор Григорий Евграфович Перепёлкин, мужчина тридцати восьми лет, с благообразной плешью и душой, склонной к меланхолической поэзии, с самого утра чувствовал себя не в своей тарелке. Служба в казённой палате, обычно представлявшаяся ему тихой, надёжной гаванью, сегодня казалась невыносимо скучной, как прошлогодний циркуляр.

Виной всему была записка, переданная ему накануне вечером кухаркой местного исправника. Записка была написана на сиреневой бумаге с золотым обрезом и гласила: «Муж уехал в уезд до завтрашнего обеда по делу о порубке. Жду вас к трём. Будьте осторожны. Ваша М.».

С двух часов пополудни Григорий Евграфович находился в состоянии лихорадочного озноба. Перед тем как выйти из дому, он полчаса вертелся перед тусклым трюмо, дважды перевязывал шёлковый галстук-бабочку, до блеска начистил штиблеты и так щедро опрыскал себя одеколоном, что его старая экономка Агафья, войдя в переднюю, громко чихнула и перекрестилась. Идя по улице, Перепёлкин то и дело испуганно оглядывался, принимая каждого встречного почтальона за переодетого городового, и лишь у самой калитки исправницкого дома перевёл дух.

Марья Ивановна — супруга исправника, дама тридцати лет, пышная, белотелая и обладающая тем ленивым, бархатным взглядом, который сбивает с панталыку даже самых стойких столоначальников, — встретила его в гостиной. Она была в домашнем капоте из пунцового шёлка, который не столько скрывал, сколько соблазнительно подчёркивал её округлые формы.

— Ах, Григорий Евграфович, — прошептала она, прикладывая пухлую руку к груди, — вы опоздали на целых семь минут! Я уж думала, вы испугались моего супруга и решили остаться при своих исходящих бумагах.

— Сударыня! — воскликнул Перепёлкин, прижимая цилиндр к сердцу и чувствуя, как у него пересохло в горле от сладковатого, горячего аромата её кожи. — Ради одной минуты вашего общества я готов пойти на эшафот! Даже если палачом будет сам господин исправник!

— Ну, до эшафота, положим, далеко, — засмеялась Марья Ивановна, и в её смехе послышался призывный, грудной перелив. Она взяла его за руку — пальцы её были тёплыми и мягкими, как свежая сдоба, — и увлекла на широкую, обитую зелёным плюшем софу, стоявшую в глубине гостиной, за высокой китайской ширмой с изображением цапель.

Первые минуты прошли в том сладостном, суетливом замешательстве, которое всегда сопровождает начало запретной любви. Перепёлкин, забыв о своей чиновничьей солидности и геморрое, покрывал поцелуями её пухлые пальцы, запястья и открытую ложбинку у ворота капота, чувствуя, как под тонким шёлком часто и тяжело вздымается её грудь. Марья Ивановна томно закатывала глаза, шептала: «Ах, что мы делаем, это безумие...», — но при этом сама проворно распустила пояс капота, распахивая пунцовый шёлк и открывая взору пышные, ослепительно белые плечи.

Увидев её обнажённую грудь — тяжёлую, округлую, с крупными нежно-розовыми сосками, — Григорий Евграфович окончательно потерял остатки канцелярского благоразумия. Дрожащими, нетерпеливыми пальцами он стянул сюртук, кое-как расстегнул ворот сорочки и брюки, и с коротким, счастливым стоном припал к её телу.

Софа под ними заскрипела жалобно и протяжно. Марья Ивановна притянула его к себе, широко разведя гладкие, полные бёдра и обхватив его плечи руками. Когда он вошёл в неё — глубоко, жадно, задыхаясь от внезапного, оглушительного восторга, — она глухо ахнула, выгнувшись навстречу и впиваясь влажными, горячими губами в его щёку.

Вся его многолетняя, затхлая холостяцкая скука мгновенно сгорела в этом пышном, обволакивающем жаре. Перепёлкин двигался в ней с неистовой, почти отчаянной страстью, словно хотел наверстать все годы, проведённые над казёнными ведомостями; его ладони сжимали её мягкие, податливые бёдра, губы скользили по её горячей шее, а она отвечала ему глубокими, тягучими толчками, приглушённо постанывая в такт его движениям и притягивая его

к себе всё теснее. Воздух в полутёмной гостиной за ширмой стал густым и жарким, пахнущим пудрой, разгорячённым телом и весенней сиренью из приоткрытой форточки.

Они находились в самом разгаре этого упоительного забытья, уже на самой грани той сладкой, неминуемой разрядки, ради которой забываются все циркуляры на свете, как вдруг в прихожей раздался оглушительный, повелительный звон колокольчика, а вслед за ним — тяжёлый топот сапог и громовой, прокуренный бас:

— Маша! Марья Ивановна! Где ты там? Самовар поставь, я продрог как собака! Порубка-то отменилась,у жены пристава родильная горячка!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.